

Известия 30.5.72

ВСТРЕЧИ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ДУМЫ СЕРДЦА В ПЕСНЮ ПЕРЕЛИТЫ...

НЕДАВНО в поезде, идущем на Восток, мы оказались в купе вдвоем с военным врачом, полковником. Он родом из Башкирии, но служба надолго оторвала его от родных мест. Когда он узнал, что мы с ним земляки, то с живостью спросил:

— Как там Мустай Карим?

Такой вопрос я слышал часто и в Сибири, и на Волге, и на Кавказе, и в северных краях, где мне приходилось бывать. Встречался я со многими иностранцами: «Башкирия? О, Мустай Карим».

На этот раз, в купе вагона, я стал перечислять последние книги Мустая. Мой попутчик нетерпеливо прервал:

— Простите, но я их уже читал. Я читаю все, что издано Мустаем на башкирском и русском языках. Вы знакомы с ним? Расскажите мне о нем.

Рассказать о Мустае... О нем можно говорить часами. В одном из своих ранних стихотворений поэт сказал: «Я думы сердца в песню перелюю». И это стало его клятвой на всю жизнь.

Мустай воевал, был тяжело ранен. Помню, вскоре после окончания войны я с трепетом держал в руках его комсомольский билет, пробитый фашистской пулей и залитый кровью. Для нас, тогда юных комсомольцев, каждое слово Мустая воспринималось как голос сердца. Его искренность безупречна. Я даже не могу представить, чтобы Мустай мог в чем-то хоть на йоту сфальсифицировать. В программном произведении «Слово, сказанное самому себе» есть такие строчки: «Поддакиванья ближних не ищи и в стороны не гнись — ведь ты не ива! И не осина ты: не трепещи от всякого случайного порыва!».

Мне приходилось видеть Мустая Карима на трибунах больших собраний и в кругу аксакалов в далеких горных аулах. И меня всегда поражала его способность органически влиться в среду, в которой он был. Если в ауле — как будто он тут всегда жил и тут его место. Если на трибуне съезда — будто он рожден оратором. У него очень доброе лицо и детская, какая-то беззащитная улыбка. Глядя на Мустая, нельзя даже представить его сердитым. Но я знаю: он бывает страстным и гневным, когда выступает против зла и несправедливости.

Беседу с Мустаем бесполезно заранее планировать. У вас может быть свой план, заготовлены заранее вопросы, но разговор обязательно пойдет по непроторенному руслу. Последняя встреча у нас была совсем недавно в подмосковном санатории. Я поведал ему о разговоре в поезде. Мне хотелось задать ему прямой вопрос: как он относится к своей славе? Но, зная характер Мустая, прибегнул к хитрости. Назвав близких ему поэтов — Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова, — спросил: чем объяснить их взлет?

— Поэты, которых вы назвали, известны не по именам, а по творчеству. Они интересны не потому, что представляют малые народы, а потому, что являются большими художниками, потому что они открыли и открывают новые грани искусства. Это я особо подчеркиваю. Чем объяснить взлет Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова? Конечно, их талантом. Но я знаю многих других талантливых поэтов и писателей национальных республик, которые тем не менее не приобрели столь громкую известность. Одни из них остались известны в пределах только своего народа, а другие не дошли ни до своего, ни до других. И тут надо говорить о том, что нельзя ограничиваться освоением художественного, эстетического опыта только своего народа. Или, наоборот, переняв опыт других народов, пренебречь своим. Не познав себя, не поймешь других. Не изучая других, не узнаешь себя.

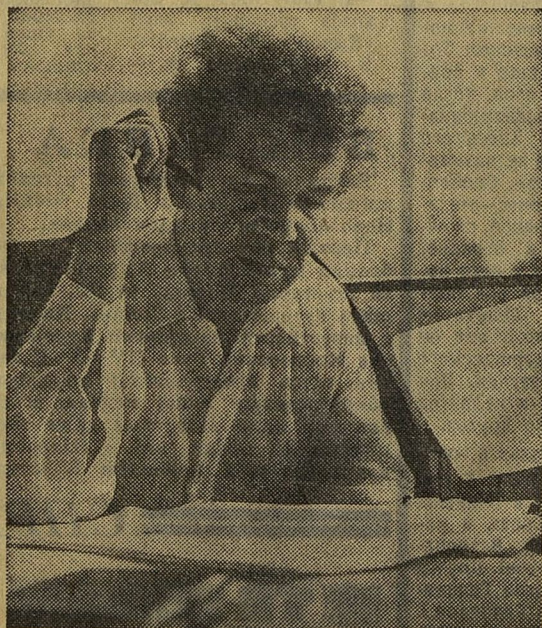
Я слушал его неторопливую, раздумчивую речь и вспоминал, как спорили два моих московских приятеля о возрасте Мустая. Один прочел на память: «Нет, не тиха украинская ночь! Она дрожит, она к земле припала... Я так спешил, чтоб яблоням помочь!.. Трясется сад от пушечного шквала» — и заключил: такие строки мог написать только зрелый мастер, а ведь с тех

пор прошло уже тридцать лет. Другой прочел озорные строчки из недавнего стихотворения «Я с сабантуйю возвращаюсь...». И удивился — неужели их мог написать человек в преклонных годах? Я не прерывал их споры. Ведь правда не в том, что Мустаю всего лишь пятьдесят, а в том, что поэт воспринимает как своего сверстника юности и старцы. Но знают они его по переводам. А вообще-то не обедняет ли оригинала перевод? Друг Мустая — поэт Назар Наджми однажды сравнил стихи в переводе с разогретым вчерашним супом. А что думает по этому поводу Мустай Карим?

— Назар любит шутить, — улыбается он. — Поэзию рискованно сравнивать с кулинарией. Но если серьезно, есть такая проблема — художественный перевод. Я пишу на башкирском языке. Он мой родной, и я его очень люблю. Но творения национальных писателей становятся достоянием других народов только в переводе. Даже самый талантливый перевод уже означает, что произведение отдано стихии другого языка. Тут идентичности не может быть: что-то теряется, что-то преобразуется. И это естественно. Но если бояться издержек, то можно обеднить нашу общую культуру.

Кстати, о шутке моего друга. Могут напомнить ему и другое — металл от вторичного нагревания закаляется. Все зависит от первоначального материала и таланта переводчика. О своих переводчиках я могу говорить только с признательностью, хотя у нас бывают острые споры. Но это уже наше внутреннее дело.

Не знаю, как звучат в моем изложении мысли Мустая Карима. Ведь запись беседы — это тоже своего рода толь-



ко перевод. Остаются за кадром, если можно так выразиться, интонации его голоса, его взгляд, его улыбка. Я спросил: почему в последние годы реже появляются его стихи в печати? И сразу Мустай стал задумчивым и грустным. Наверное, не следовало в такой прямой форме атаковать автора десятков сборников стихов. Кто не помнит его поэтических книг «Цветы на камне», «Берега остаются», «Реки разговаривают», «Годам вослед»? Когда Мустай заговорил, у меня отлегло от сердца: не обиделся.

— Стихи я буду писать всю жизнь, — убежденно сказал он. — Поэзия — мой горячий цех. Но с возрастом поэты становятся эмоционально более сдержанными, но зато и более требовательными. Трудно мне судить о своих стихотворениях, но к поэзии я обращаюсь, когда есть внутренняя потребность, когда не могу иначе выразить свое восприятие, настроение, свои мысли и чувства. Есть у меня замыслы, которые требуют иных жанров. В течение ряда лет я также занимаюсь драматургией.

Упрек читателей, что стихов пишу меньше, правильный, тяжелый. Я его принимаю. Но этот упрек не самый страшный. Если бы мне сказали, что мои стихи стали хуже, слабее прежних, то это был бы убийственный для поэта приговор. Тогда надо бросать поэзию.

Надо признаться, мы, читатели — народ жестокий, особенно по отношению к любимым писателям. Случись в их творчестве малейший перерыв —

тут же раздаются требовательные голоса: почему замолк? Да мало ли почему. Действительно, Мустай Карим прославился поэзией. Но он и известный драматург, он написал семь пьес. Две из них — «Ночь лунного затмения» и «Страна Айгуль» — вошли в репертуар многих театров страны. Недавно в Уфе с большим успехом прошла премьера его новой трагедии «Салават». Это последняя крупная работа Мустая, и разговор о ней с автором, мне кажется, будет небезынтересен читателям. Во всяком случае сам Мустай Карим еще весь во власти переживаний после премьеры. Я его спросил, почему он был грустным на премьере. И услышал в ответ:

— Когда пьеса уже в театре, — начал он, — у нее появляется своя жизнь. Зритель был добр к спектаклю. Это отрадно автору. Но вы не ошиблись, мне грустно от чувства расставания и тревожно за дальнейшую судьбу трагедии. Я написал несколько пьес. И каждая мне дорога — иначе я не писал бы их. Но «Салават» занимает особое место в моей жизни. Прежде чем приступить к написанию пьесы, я проехал по всем местам, где сражался Салават, ходил по суровому берегу Балтики, где, скованный цепями, доживал он последние годы. Созданный мною образ — плод многолетних раздумий. Салават в моем понимании — не только народный герой восставших башкир, не только ближайший сподвижник Пугачева. Он для меня символ и дух нации. У башкир было немало славных героев до Салавата и после него. Но Салават, может быть, оставил самый глубокий след в памяти народа. В чем секрет его бессмертия? Я думаю, секретов много и далеко не все они раскрыты историками. Но кое о чем я догадываюсь. Салават как вождь и герой достойно разделил с народом не только славу побед и возвышения, но и все тяготы поражения. Вместе с народом — вот стержневая идея, вдохновившая меня.

К истории мы возвращаемся для того, чтобы утвердить настоящее. Когда писатели брались за создание образа Салавата десятилетия назад, он не мог предстать перед ними таким, каким мы видим его сегодня. Исторический герой как бы просвечивается обратным светом — светом, идущим от настоящего к прошлому. Идеи Салавата, его мечты будто проверяются нашим временем, и ашей действительностью. В моей пьесе Салават, даже будучи на гребне власти, весь в сомнениях: по заслугам ли ему почести? А после поражения, принесшего еще большие жестокости и притеснения царизма, он переполнен чувством личной ответственности перед народом, перед будущими поколениями: вправе ли он был поднимать меч, не напрасно ли пролилась кровь и погибли лучшие сыны его Родины? Мне хотелось, чтобы у зрителя вырвался внутренний крик: не терзайся, Салават, ты был прав.

— Мустафа Сафич, я слышал такое мнение, что «Салават» — вещь философская, трудная для восприятия неподготовленным зрителем.

— Свою трагедию я писал не для избранных. Быть зрителем — значит обладать даром восприимчивости и сопереживания. Никто не властен лишить зрителей этих человеческих свойств.

И, очевидно, будет интересно читателям узнать ответ Мустая Карима на последний мой вопрос: над чем он сейчас работает?

— Я избрал необычную работу — впервые взялся за взрослую прозу. Книга, очевидно, по жанру будет ближе к повести. Хочу проследить несколько судеб моих современников. Трудно говорить о книге, которая только пишется, но замысел такой: люди рождаются не навечно, а человек живет и действует как бессмертный, оставляя в веках свой след создания. И потому из рук в руки передается этот негаснущий факел человеческого бессмертия.

Г. КУДРЯШОВ,
собр. корр. «Известий».

УФА.